

Два лика. Даниил Александрович Гранин [granikdaniel.ru](http://granikdaniel.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Два лика. Даниил Александрович Гранин

Угол улиц Пржевальского и Гражданской; я стоял, поджидая товарища. И только потому, что нечего было делать, вдруг заметил вмурованную в стену мраморную доску: «Уровень воды 7-го ноября 1824 года». И черную черту. Доска была старая, тех лет. И рядом вторая, с той же надписью по-немецки. Дом был старый, тот самый, в котором жил Раскольников, Родион Раскольников, в своей камере под крышей. Дом, описанный со всеми подробностями в «Преступлении и наказании», выисканный Ф. М. Достоевским, а затем, спустя многие годы, опознанный внуком Достоевского – Андреем Федоровичем. Он-то и показал мне этот дом, водил меня по его лестницам, но и он не видел этих досок.

Почему метка наводнения оказалась именно на этом доме, стоящем далеко от Невы? Черная черта вдруг перечеркнула все случайности и стечения обстоятельств и соединила для меня, в который раз, Пушкина с Достоевским, Евгения с Раскольниковым, два Петербурга, двух любимых моих писателей, две великие вещи, созданные ими. Они соприкоснулись на углу этого дома, встретились неожиданно, помимо всяких литературоведческих сопряжений.

Прямая – кратчайшее расстояние между двумя точками. По этой прямой самым кратчайшим, наглядным образом столкнулись и два Петербурга: Петербург «Медного всадника» и Петербург «Преступления и наказания», самая петербургская вещь Пушкина и самый петербургский роман Достоевского.

Разумеется, можно всячески обыгрывать, в сущности, случайность, окутать ее поэтическим, а то и полумистическим туманом, вода поднялась так высоко, что на поверхности осталась лишь игра случая. Тайный смысл, внутренние, скрытые законы, связи, которые, цепляясь друг за друга, изгибались отнюдь не по прямой, – все было скрыто, и я лишь ощущал их. В чем?

Формулы, формулы... Всякий раз их ищут, добиваются, чтобы потом опровергать их. В том-то и мучение, и радость, что обе вещи эти – истинно гениальные, не умещаются в формулы. Они многозначны, и многозначности их хватило на толкования уже несколькими поколениями русских читателей.

Как только ни определяли идею «Медного всадника». Какие только толкования ни предлагали разные эпохи и разные ученые. И не только ученые – Брюсов предлагал, Мережковский, Антокольский. И все толкования были правильны. Интересны. Глубоки. Аргументированны. И разные. Сейчас иные из них кажутся устарелыми, упрощенными, но тогда они выглядели весьма убедительно. Это про «Медный всадник». А про гоголевские «Записки сумасшедшего» – как их по-всякому разгадывали, а «Портрет», «Нос»? А «Смерть Ивана Ильича»? А Достоевский? А у Лермонтова – его «Фаталист», его драмы? А Блок? А «Пиковая дама»? А «Мастер и Маргарита»? Странная это литература. Что хотел сказать автор? Может, то, а может, совсем другое. Все реально, и все двух-, трех-, четырехсмысленно. А кроме того, за всем брезжит еще не разгаданный смысл, который один раз увидится так, а другой раз иначе. И обязательно что-то у каждого читателя непонятное остается. Какая-то смущаемость, неуверенность – так ли я понял и понял ли до конца? Являлась ли Германну старая графиня, откуда он узнал про карты, что это все означает? Странно. Но эта странность влечет, заставляет вновь мысленно возвращаться, и всякий раз заходишь все дальше и никогда не можешь добраться до конца. Всегда что-то остается. Что-то непонятное, таинственное, и опять можно заходить с другого бока, поворачивать по-иному. Все формулы годятся, и все они недостаточны для этой странной литературы.

На берегу пустынных волн  
Стоял он, дум великих полн...

Если б я мог начать о «Медном всаднике» вот так же сразу, с самого главного. Труднейшее это искусство – начал. Никто, пожалуй, не умел так начинать, как Пушкин. «Гости съезжались на дачу» – как это восхищало Толстого. А «Пиковая дама» – «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». Что может быть проще, деловитей, необходимей. Действие начинается как бы до первой фразы. Подобное начало действует как музыкальный ключ: «Гости съезжались на дачу», – и Толстой, прочитав «невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман („Анна Каренина“)...»

На берегу пустынных волн

Два лика. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Стоял он, дум великих полн...

С детства это вошло в сознание картиной зримой и красочной – берег, и на нем фигура огромного, в распахнутом кафтане, с непокрытой головой, Петра – облик, сложенный из всего множества картин, фильмов, книг.

Так же как с детства усвоился образ пушкинского Петербурга, вернее, Петербурга «Медного всадника». Только с той разницей, что Петр, существующий у каждого, как бы привносился в поэму, а Петербург выносился из поэмы и прикладывался к панораме Невы, к набережным, дворцам. Красота города выражала себя через пушкинские строфы. Они произносились сами собой, невольно возникая на улицах среди тишины белых ночей, на Марсовом поле, перед этими улицами города, прелесть которых и уяснить себе нельзя иначе, как через эти нестареющие стихи. Вряд ли существуют другие стихи, которые были бы так известны и так часто повторялись. Кажется, что мы никогда и не заучивали их специально, мы просто знали их, словно обживали вместе с городом, неотъемлемо, как Петропавловку и Адмиралтейство. Мы наслаждались музыкой, звучанием этих слов, давно уже не вдумываясь.

И вдруг эта метка на доме Раскольникова.

Словно вспышка осветила поэму, и сквозь школьные мои представления увиделись, как водяные знаки, скрытые смыслы. Наверное, каждое поколение по-своему читало «Медного всадника». И следующее поколение прочитает его иначе, чем мы. Было бы поучительно проследить историю таких толкований. Но я не историк, не литературовед. Я просто перечитывал поэму заново, для себя. Как всегда в таких случаях, обстоятельства сбегались навстречу. Была осень. Ветер с залива поднимал воду в Неве, и в субботу к вечеру она вышла из берегов. Все было как в поэме:

...над ее берегами  
Теснился кучами народ,  
Любуясь брызгами, горами  
И пеной разъяренных вод.

Университетскую набережную залило. Трамваи остановились, машины поворачивали. Вода хлестала из люков, мчалась по улицам. Мальчишки носились, перепрыгивая через мутные потоки на мостовых. Затопило Петропавловские пляжи. На островах аллеи скрылись под водой. Плыли скамейки. Исчезали берега. Уровень воды был куда ниже, чем тогда, при Пушкине, но достаточен, чтобы вообразить, как все это происходило. На другом берегу огромной, вспухшей, яростной Невы возвышался Медный всадник, за ним тяжелая громада Исаакия. Мощь Невы столкнулась с каменной мощью города. Стихия разбушевавшейся воды влекла, восхищала, и в то же время было стыдно за это любованье, потому что я представлял все бедствия, наносимые городу. И представлял отчаянье Евгения. И его беспомощность.

В поэме тоже было двоение чувств.

И двоение мысли.

Все в ней вдруг стало расщепляться. И тогда сразу появились:

Два Петра: Петр живой и Петр – Медный всадник, кумир на бронзовом коне.

Два Евгения: заурядный, бедный чиновник, покорный судьбе, мечтающий о своем нехитром счастье, и Евгений безумный, взбунтовавшийся, поднявший руку на царя. Даже не на царя – на власть.

Два Петербурга: Петербург прекрасных дворцов, набережных, белых ночей и внутри него, рядом с ним, бездушье чиновничьей столицы, жестокий город, в котором будет жить Раскольников.

Две Невы...

Расщепление проходило сквозь всю поэму, через весь ее образный строй.

Двойственность распространялась в любые стороны, она, как соседние грани, смыкалась каждый раз под новым углом. Раздваивается фигура всадника – один Петр на вздыбленном коне во время наводнения, когда город затоплен, за ним второй всадник – Евгений верхом на льве. Они вдвоем остаются над водой, над затопленной

Два лика. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru столицей. Тонет город, о котором мечтал Петр, – окно в Европу, порт, выход на простор для России, все флаги в гости. И всплывает Петербург – губитель, убийца, город, в котором гибнут Параша, Евгений, пожитки бедноты, Петербург, не предвиденный Петром, изнанка его мечты, город, где царствует не Петр, а Медный всадник. И снова двуликость, как бы две точки, двоение. Но история – это не тетива, натянутая между двумя точками. Да и тетива лишь спущенная становится прямой. А тетива в «Медном всаднике» круто взведена, поэтому так далеко летит стрела нашего воображения.

Тот Петр, который появляется на берегу пустынных волн с первых строк поэмы, это живой государь, любимец Пушкина, он еще продолжение того Петра, который был в «Полтаве», – прекрасного, стремительного, и того, что в «Арапе Петра Великого», – высокого, в зеленом кафтане, с глиняной трубкой во рту, работника, которого Пушкин изучал, к которому часто возвращался.

«Медный всадник» (не опубликованный при жизни Пушкина) лежал у него в столе, а Пушкин собирал материалы об истории Петра Великого, продолжая как бы жить с Петром, со своим последним Петром – последней своей поэмы.

Интерес к Петру был у Пушкина не случаен. России, несомненно, повезло с Петром. Не только в отечественной истории – в истории Европы трудно найти фигуру деятеля, соразмерную Петру. Как личность Петр был гениальным человеком. России повезло в том смысле, что тут совпало все – редкие способности и возможности, самобытность, воля, исторический перекресток, на котором очутился Петр, на котором был выбор, и он этот выбор осуществил.

Из всего поразительного многообразия деятельности Петра Пушкин выбрал для поэмы одно-единственное, не позволяя себе говорить ни о каких других реформах и заботах Петра. О чем думает Петр в «Медном всаднике»? Построить порт, «ногою твердой стать при море...» – вещи практические, необходимые для России. Среди них есть одна, выраженная образом знаменитым, ставшим поговоркой: Петербург – «окно в Европу».

«В Европу прорубить окно» – это окно надо было не открыть, а прорубить, и прорубить изнутри. Прорубить – означало не только тяжесть строительства нового града на низких, топких берегах, не только деньги, усилия, муки России, закрепление военной победы над шведами. В этом слове перекликаются, отдаются и другие толкования, идущие с тех петровских лет, когда рубился российский флот. Рубили лес для новых дорог, рубили головы стрельцов. Рубились канаты якорей, державших Россию у ветхих причалов, у старых рубежей.

В самом деле, Петербург сначала, с первых своих лет, задуман был как столица. Дело неслыханное в европейской истории. Бывало, что столицы переносились, – здесь же столица строилась. Новая столица древнего государства, имеющего свою столицу – Москву. Эксперимент в те времена единственный, без примеров. Но, кроме исторической новации, это означало и нравственный переворот для самой России.

Трудно сейчас представить себе, как воспринялся русским человеком перенос столицы и с нею понятия центра государства российского из Москвы белокаменной, привычной, Москвы-матушки, из Москвы сорока сороков, из Москвы, где в Архангельском соборе покоились почившие цари, из Москвы – собирательницы России в место никому не известное, болотное, на краю страны, в гиблое, чуждое, неосвоенное. Это была катастрофа вековых понятий, покушение на саму систему пространственного мышления, так живо и прочно развитого в русском человеке.

Города на Руси складывались по давно заведенному порядку, вокруг крепостей, укреплений, либо же селились подле монастырей; к монастырю, к святым местам подтягивался, пристраивался город.

Здесь же зерна не было, оно не прорастало, не за что было зацепиться на этой топи. Было лишь сознание необходимости, нужды для России, нужды истинной и давней, которую Петр угадал и осознал если не первый, то во всяком случае наиболее отчетливо, и была воля Петра. Воля, а не произвол. Белинский точно замечает: «Произвол не производит ничего великого... Произвол не построит в короткое время великого города: произвол может выстроить разве только вавилонскую башню, следствием которой будет не возрождение страны к великому будущему, а разделение языков».

Два лика. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Воля Петра была поистине гигантской потому, что тот переворот в привычных понятиях, о котором говорилось, должен был произойти прежде всего в самом Петре. Такой поступок, просто говоря, требовал огромной личной смелости. Петр не побоялся объявить об этом боярам, дьякам, всей России. Можно было начинать строить Петербург как порт – нет, он начал его строить как столицу. Упреки, несогласия, возмущение, недовольство, обвинения – он ничего этого не убоился. Он обрубал привычные связи, скрепы, понятия. Может быть, в этом акте большого личного и государственного мужества Петра, этом повороте, совершенном Петром, еще есть много недооцененного историей. России нужно было море. Из всех морей России нужнее всего была Балтика. «Окно в Европу» рубили не для того, чтобы ходить на поклон, а для того, чтобы сблизиться, – «все флаги в гости будут к нам».

В поэме мысли Петра выражены такими литыми формулами истории, которые под стать гению Петра. Так он мог думать.

И вот мечта Петра исполнилась, замысел осуществился, с размахом большим, может быть, нежели ожидал Петр.

Прошло сто лет, и юный град,  
Полночных стран краса и диво,  
Из тьмы лесов, из топи блат  
Вознесся пышно, горделиво...

Окно в Европу прорублено, все флаги – в гостях, город, стройный и прекрасный, раскинулся по берегам Невы, стал столицей Российской империи, столицей вполне европейской...

А посреди столицы, там, где он стоял на берегу пустынных волн, поднялся Медный всадник, кумир на бронзовом коне, простерший руку в вышине. Достойная дань потомков. Все прекрасно, дело Петра торжествует. Откуда же в этой праздничной картине возникает мучительное ощущение разлада? Какое-то несоответствие между Петром – и Медным всадником, между Петром, полным великих дум, – и неподвижным кумиром, простершим руку в вышине. Человек – и памятник ему. Живая, мыслящая плоть – и бронзовая копия. Нет, не из этой очевидности возникает расхождение. Медный всадник не просто славное прошлое, воспоминания, память, памятник; он – воплощение Петра, он действующее лицо поэмы, он действует, живет той исторической жизнью, которую претерпели Петр и его дело за минувший век. Облик Петра изменился, и, может, трагически изменился – перед нами кумир на бронзовом коне.

Они сидят друг за другом – кумир на бронзовом коне и за его спиной, скрестивши руки, на мраморном льве Евгений. Кумир простер руку, Евгений скрестил руки на груди, а все остальное затоплено водой.

Кумир – божество языческое. Языческие боги страшны. «Ужасен он в окрестной мгле!»

Петр-человек знал, чего он хотел. Кумир – сила непонятная, действующая по законам, не ведомым человеку. Что там, в медной голове идола?

Какая сила в нем сокрыта!  
А в сем коне какой огонь!  
Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта?

Живой Петр, царь-плотник, скипер, тот, кто, возвращаясь по Финскому заливу, помогал, по пояс в воде, спасти со шлюпки солдат, Петр этот в часы наводнения действовал бы, воюя со стихией, отстаивая свой затопленный парадиз. Натура Петра деятельная, непокорная року, невозможно представить, чтобы он мог произнести подобно Александру в поэме: «С божией стихией царям не совладать». Но кумир выше этого, он вне этого, он обращен спиной к Евгению, он воплощение идеи незыблемой, вечной. Разбушевавшаяся стихия уляжется, успокоится, Нева спадет, минует буйная дурь, все вернется в русло, утомится наглым буйством.

Живой, мыслящий гений Петра, его просвещенные замыслы, его реформа стали бронзой, кумиром – то есть идиолом, требующим не мысли, не развития, а слепой веры и поклонения.

Два лика. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

В поэме живой Петр занят лишь благом, его замыслы самые светлые, праздничные, его идеи благородные, просвещенные, он просвещенный монарх.

У кумира же идеи нет, кумир требует жертв во имя себя, во имя своей милости – жертв бессмысленных...

Отлитый в бронзу Петр скован, он не в силах ничего изменить, он используется как принадлежность столицы, ее украшение, ее оправдание, а может, ее устрашение.

Ужасен он в окрестной мгле!  
Какая дума на челе!  
Какая сила в нем сокрыта!

Ничего общего нет у него с тем Петром, который «могущ и радостен, как бой», который прекрасен, «весь как божия гроза». Они не просто разные – они противоположны друг другу.

Медный Петр на коне, на гранитной скале – олицетворение власти, символ, уже не человек, не царь, не личность, а металл, нечто стоящее над ним самим, движущееся в Истории независимо от его желания: конь несет Петра. Тот конь, которого Петр поднял на дыбы, теперь самоуправно скачет сам, конь – хозяин, а не всадник.

Что думал живой Петр, Пушкин мог себе представить. Но этот Петр – воплощение государственности – непостижим, как непостижим он был бы и для самого Петра. Непостижимо, уродливо и страшно превращение, происшедшее за столетие с делом Петра. И с самим Петром, превратившимся в кумира. Медный всадник грозен, но и бессилён, он прекрасен и страшен. Он строитель чудотворный, но он и губитель. Он – Медный всадник. А Петр? Петр – жертва? Впрочем, если уж жертва, то особая. Двоится Медный всадник, но двоится и Петр. Трагедия возникает не только спустя столетие, трагична жизнь самого Петра, его борьба, противоречивость его целей и средств. Он способен к милосердию, но он жесток, он стремится к реформам, но пишет историю кнутом.

В двадцатые годы Петр для Пушкина – еще идеал просвещенного монарха. Если и не идеал, то во всяком случае пример.

В 1826 году Пушкин надеялся на то, что Николай I будет продолжать петровские традиции. Он обращался к нему:

В надежде славы и добра  
Гляжу вперед я без боязни.  
Начало славных дней Петра  
Мрачили мятежи и казни.

Надежды не оправдались. Напрасны были примеры петровского размаха, мудрости, незлопамятности. Мерка Петра оказалась слишком велика для Николая. «Государь не рыцарь, – убедился Пушкин, – в нем много от прапорщика и немного от Петра Великого.» Куда там прапорщик: вскоре оказалось, что на троне фельдфебель, сыщик, который способен тайком, вместе с шефом жандармов, читать письма поэта к жене. Коронованный создатель III отделения уничтожал надежды Пушкина на какой-либо прогресс. Мстительность, жестокость этого лживого правителя окончательно отделили его от дела Петра, от европейского просвещения, от всего начатого, замысленного Петром. Дело Петра изуродовано николаевской монархией и предано. Прекрасный памятник фальконе – всего лишь одна из принадлежностей мрачного безвременья, ничего общего с Петром не имеющего, но прикрывающегося именем Петра. Николай обожал, чтобы его сравнивали с Петром, считал себя продолжателем петровских дел.

Вера поэта рухнула. Осталось ощущение стыда, позора уступок, понимание, что так нельзя, что все это гнусно. Было несогласие, отрицание и, как всегда в такие эпохи, нежелание более считать себя удобренным, ибо человек живет «не для воплощения идеи... а единственно потому, что родился, и родился... для настоящего», как писал Герцен. «Пока мы живы... мы все-таки сами, а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить какую-то бездомную идею.»

Евгений не с историей сводит счеты, не с Петром, не с прогрессом, он восстает на власть, на медную самодержавную власть.

Евгений – это не Пушкин, но Евгений – это и не просто пример жертвы, некая условная фигура, нужная для раскрытия сложности исторического процесса.

Есть творение Петра, град Петров, а есть Петербург Медного всадника. Евгений не в состоянии до конца разделить их, но Пушкин требует, чтобы мы-то их разделяли – творение Петра и столицу николаевской империи с ее хвостовыми, болгаринскими, уваровскими, бенкендорфскими.

«Люблю тебя, Петра творенье», – громогласно, с вызовом и пылом юношеских лет признается тридцатичетырехлетний Пушкин в этой последней своей поэме.

Он отбирает самое прекрасное, что есть в этом городе, – его белые ночи, набережные, его зимнюю красу, дворцы, просторы Невы, мосты, Адмиралтейство – все лучшее, что было в пушкинском Петербурге. Он славит творенье Петра.

Любовь к Петру не самодержцу, а творцу, творческой личности, и любовь к городу, воплотившему творческое начало петровской эпохи, сливаются в гимн – любование чудом, совершенным за каких-нибудь сто лет из этой пустынной топи блат.

Да, город выстроен на гиблом месте, под морем, затопляемый, но Пушкин любит его безоговорочно, он принимает, оправдывает, защищает замысел Петра, надежды, связанные с Петербургом.

Красуйся, град Петров, и стой  
Неколебимо, как Россия...

Ну а как же судьба Евгения? Что же, его несчастье, его гибель исторически оправданны? И значит, Пушкин присоединяется к этому оправданию во имя идеи Петра? Или же он остается в стороне, всего лишь летописец, и раскрывает перед нами диалектику истории, ее неразрешимое, неизбежное противоречие? Но ведь очевидно, что Пушкин на стороне Петра, что дело Петра для него не подлежит сомнению и оговоркам. Что же, пусть гибнут такие, как Евгений? Но нет, он явно сочувствует страданиям своего героя. Что же такое эта поэма – «поэма-вопрос», безответный вопрос, поставленный перед историей?

А может, сложность в том, что он, Пушкин, на стороне Петра, и он, Пушкин, на стороне Евгения? Он с Петром против Медного всадника, и он с Евгением против Медного всадника. Евгений восстает не на дело Петра, его несчастная судьба вовсе не отрицает творенье Петра.

Но и Медный всадник – это не просто апофеоз самодержавия. Великолепный памятник славил юную мощь России, восходящую кручу истории... Расщепление продолжается. Отношение Пушкина к личности Петра раздваивается. Петр имеет два лика. «Достоин удивления: разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом.» Но и в поэме, кроме Петра – творца, создателя, строителя чудотворного, есть Петр-самодержец. Тот самодержец, от которого нынешний Пушкин отказывается, отвергает. Пусть даже в облике такого просвещенного монарха, преобразователя, как Петр, – все равно самодержавие оказывается бесчеловечным. В любой форме самовластье неприемлемо. Оно не может быть ничем оправдано, никакими целями. Самый просвещенный абсолютизм гибелен. Трагедия Петра в том, что самодержец, каковы бы ни были его устремления, не способен поступиться своей властью в пользу «вольности частной», как писал Радищев. Самовластье не может оправдать себя, достигнуть гармонии, ибо в нем неизбежны произвол, насилие, рабство, уничтожение человека.

Русский царизм, самодержавие с детства воплотился для меня в облике Николая I. Никакой другой царь, даже Николай II, не вызывал такого гнева и злости, как именно Николай I. Конечно, это было связано и с Пушкиным. Николай убил Пушкина – в детстве все ясно, всегда знаешь, кто виноват.

Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса  
Следит упорно, взведены ль курки...

Царь – фат, актер, лицедей, он был первым и главным врагом Пушкина; не Дантес, не Бенкендорф, не Булгарин, не Уваров, – в нем, в Николае I, сосредоточилась вся

Два лика. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru мальчишеская, а потом и юношеская ненависть и жажда отмщения. Николай I – усмиритель восстания декабристов, вешатель декабристов. Как они медлили! Оттого, что они так неразумно вели себя, упустили минуты, часы, я еще больше ненавидел Николая. Декабристы, убийство Лермонтова, ссылка Шевченко, казнь и ссылка Достоевского – все это был он, Николай I.

Но был и другой, особенный, непонятный царь, который противостоял Николаю I, и невольная симпатия к Петру смущала меня. Он тоже был царь, представитель царизма, самодержавия – как же он мог нравиться? Где, как родилась моя приязнь, трудно установить. В Летнем саду стоял маленький памятник царю-плотнику. Петр с засученными рукавами ладил бот. В Петропавловской крепости в каменном павильоне хранился этот бот, сделанный Петром. Петр не только не был похож на других царей. Петр проходил через всю жизнь, так или иначе встречаясь на просторах России. За Петрозаводском на минеральных источниках висели «Правила пользования Марциальными водами», написанные Петром. Петр встречался в Архангельске, в Старой Руссе, в Воронеже, на каналах Мариинской системы, в замысловатых станках Нартова, и все это был ум, руки, смекалка удивительного царя. Мне нравился склад его ума, инженерно-технический. Мы повторяли его хлесткие фразы, мы любили ходить в его дворец, так не похожий на дворец, – домик в Летнем саду. И домик на Петроградской. И, наконец, памятник ему, Медный всадник, был, разумеется, самым любимым памятником и гордостью ленинградской. Он никогда не был для меня тем кумиром, ужасным и грозным, каким увидел его Евгений. Восприятие Евгения – Пушкина, ракурс, в котором вдруг предстал Медный всадник, необычен, редкостен. Памятник воспринимался только как прекрасная скульптура. Но был день, когда я вдруг увидел этот памятник глазами Евгения, – это было до войны, я шел пешком от Исаакиевской площади мимо памятника Николаю I, мимо памятника Екатерине, до площади Восстания, на которой стоял памятник Александру III – Трубецкого, и это расстояние от Петра на коне до Александра на коне, от Петра с непокрытой головой, в крестьянской рубахе, до Александра, затянутого в мундир, с шапкой городского, от Медного всадника до Пугала, памятника не менее замечательного, чем памятник Фальконе, – это расстояние вдруг обнажило для меня то, что разглядел Пушкин. Конь Петра опустил копыта, теперь он стоял на четырех ногах, тупая сила, уже никуда не летящий и ничего не преодолевающий.

Я шел как бы от Евгения до Раскольникова, через Петербург «Медного всадника», «Шинели», «Портрета», «Преступления и наказания», Петербург Некрасова, Щедрина... Как изменялся облик этого города в истории русской литературы, как вылезало наружу нутро его страшных колодцев, где гибли и уродовались человеческие судьбы.

Обезумел Евгений, город уничтожил и отнял у него все, но обезумел и Акакий Акакиевич, для которого все это была шинель. И снова бунт. И снова вызов Раскольникова, вызов, рожденный в камерке петербургского чердака.

Ничто не может поколебать этого кумира, царящего надо всем. Но нет, может; оказывается, может. Оказывается, есть сила, способная испугать этого кумира, заставить его помчаться по пустым улицам. Чего ж он испугался – полубессвязной фразы безумного человека? А что было в этой фразе?

«Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..»

Не обличенье, не программа, всего лишь – «ужо тебе!». И это оказалось страшнее разбушевавшейся стихии.

Кругом подножия кумира  
Безумец бедный обошел  
И взоры дикие навел  
На лик державца полумира.

Силы-то какие несоразмерные. «Державец полумира», кумир, горделивый истукан на высоте – и бедный безумец, который всего-то шепчет. Для этого бунта нужно безумие. Впрочем, это не бунт, это отрицание, это угроза. Может быть, именно потому, что он безумец, он так опасен. Опасны безумцы. Для власти всегда опасны безумцы. Безумцы с точки зрения власти. Горделивый истукан мгновенно почувствовал опасность в этой угрозе. Великий царь, оваянный славой, строитель чудотворный – все эти понятия, привычные и славные, окружавшие облик Петра, вдруг переворачиваются, возбуждают злобу и протест. Какое право имел этот кумир принести во имя своей идеи в жертву счастье пусть даже одного человека? Тот

Два лика. Даниил Александрович Гранин [granikdaniel.ru](http://granikdaniel.ru) самый вопрос, который усмотрел Достоевский в «Евгении Онегине». «Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, – говорит Достоевский в своей речи о Пушкине. – И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, не Шекспира какого-нибудь... И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос.»

Любопытно, что слова эти Достоевский взял почти дословно из спора Ивана Карамазова с Алешей – знаменитая сцена бунта Ивана Карамазова. Уже не власти бросает свой вызов Иван Карамазов, а еще выше – религии. На бога он возлагает ответственность за весь хаос, творящийся на земле.

Бунт, начатый Евгением перед статуей Медного всадника, словно бы ширится, разрастается. Достоевский как бы продолжает его в «Братьях Карамазовых», по-своему осмысливая, развивая вопрос, поставленный впервые Пушкиным.

Этот вопрос тревожил не одно поколение русской интеллигенции, немало способствуя нравственным поискам и росту ее самосознания.

Мы иногда недооцениваем Пушкина как философа. В четырехстах шестидесяти пяти строках «Медного всадника» заключены проблемы важнейшие, всеобщие, которые долго еще будут волновать человечество.

Тем-то и замечательна русская литература, если уж пытаться определить ее отличие, ее традиции, что она, начиная с Пушкина, бесстрашно поднимала наиболее социально сложные и значительные, главные темы человеческого бытия.

В этом смысле «Медный всадник» сравним лишь с «Легендой о Великом Инквизиторе». В поэме «рассуждений», прямых «философских споров» нет. Поэма порождает мысль, размышления.

Кому бросает вызов Евгений? Почему он так опасен? Почему государственная машина, то бишь Медный всадник, срывается, мчится за ним?

И во всю ночь безумец бедный  
Куда стопы ни обращал,  
За ним повсюду Всадник Медный  
С тяжелым топотом скакал.

Мания преследования! А может быть, наоборот – мания преследовать? Мания видеть во всем покушение на основы и немедленно пускать в ход всю государственную машину. Ни стихии, ни бедствия народные не трогают кумира, к ним он обращен спиной, «в неколебимой вышине». Но сл?ва, одного сл?ва угрозы достаточно, чтобы сорвать его с места, заставить мчаться, преследовать. Страх, воспаленный, поистине маниакальный, гонит по ночным улицам не столько Евгения, сколько Медного всадника в этой погоне за бедным и одиноким безумцем.

Безумец? Но безумие перестало быть понятием чисто медицинским.

Тогда и писатели выводили героев-безумцев, которые могли говорить и думать то, что не позволялось нормальным людям. Тема безумия, рассказы о сумасшедших не случайно появляются с конца двадцатых годов. Рассказы Одоевского, повести Гоголя, поэмы и повести Пушкина; безумным объявляли Чацкого, а за ним и живого Чаадаева.

Самого Пушкина считали безумцем. Жуковский в 1834 году раздраженно пишет Пушкину, что ему «надо бы пожить в желтом доме». Еще бы, сколько раз Пушкину предлагали жить в мире с царем, со всем окружением, примириться, смириться. Чего он хочет, на что надеется? С точки зрения двора, он ведет себя как безумец.

Ну что ж, так и Радищева можно считать безумцем. Его поступок – «действие сумасшедшего», писал Пушкин, не правда ли: «Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины!»

Радищев один, подчеркивает Пушкин, у него ни товарищей, ни соумышленников –



безумец!

Но сколько сочувствия и скрытого восхищения этому безумию Радищева!

Статья о Радищеве написана после «Медного всадника», тема словно бы продолжается – человек, крохотный перед огромным памятником Екатерине, перед тушей императрицы и свитой ее генералов, советников, фельдмаршалов, – мелкий чиновник против этой государственной громады, вооруженной армией, полицией, законами, судами. Но теперь не «ужо тебе!», и не шепотом...

Впрочем, памятника Екатерине в те годы еще не существовало. Зато, кроме Медного всадника, была совсем недавно торжественно открыта Александровская колонна, и перед ней «вослед Радищеву» поднимается Пушкин. Уже не мелким чиновником, не камер-юнкером, а народным поэтом. Его «непокорная глава» возносится выше этого гранитного столпа Александру I. Он больше, он сильнее, он просвещенней, не монархи, а он, поэт Пушкин, стоял на защите милосердия и свободы. Перед ним, перед его громадой отступает и далеко внизу остается вся официальная чернь, все памятники царям, их мнимая слава и могущество.

Ненапечатанный «Медный всадник» словно прорвался в предсмертном вызове «Памятника». Николай и его шеф жандармов не поняли, что ненапечатанные, запрещенные вещи иногда страшнее и действеннее напечатанных.

Они безумцы, эти редкие люди, время от времени встающие поперек дороги. Их глас вопиет в пустыне. Они лишние люди, чуждые обществу тридцатых-сороковых годов. Протестующий был одинок, отчужден от всей системы медного коня государственности. Смутный шум тревоги гнал этих безумцев все дальше, порывал скрепы, связывающие с понятиями родины, отчизны и даже народа. Потому что и понятия «народ», «народность» были захвачены николаевской кликой.

Два Петербурга: Петербург – творение Петра и Петербург – создание империи, Петербург, увенчанный Медным всадником... Они сталкиваются не так явно, как два Петра, они сосуществовали один в другом, два начала, растущие совместно: «громады стройные», «узор чугунный»; иногда эти начала сталкиваются, иногда примиряются, иногда дополняют друг друга: «однообразная красивость», «недвижный воздух».

Два Петра, два Евгения, две Невы – краса города и угроза ему. Но всю эту стройность, симметричность поэмы нарушает некая посторонняя, идущая наперерез, наискось сила стихии. Она пересекает все эти двоеточия, все раздвоения. Стихия наводнения, общий враг и Петра, и Евгения, обоих Петербургов, всех и всего, и порядка, и безумия.

В слепой силе разбушевавшейся Невы есть то, с чем боролся Петр, – те темные силы, топь, которую заковывали в гранит набережных, та косная ненависть ко всему новому, идущему с Запада, большие бороды Москвы, крики и проклятия царю-антихристу. Эта сила не вызвала сочувствия у Пушкина, это буйство наглое, бессмысленное, одушевленное лишь пафосом уничтожения и разрушения, слепой, нелепый разбой, уничтожающий без разбора пожитки бедноты и дворцы, – впрочем, бедность и тут страдает больше.

Гневаться на этот взрыв стихийных сил нелепо. Евгений, потерявший рассудок, обретает иное зрение, он видит Медного всадника иначе. Он, Евгений, оказывается вдруг третьим лицом в борьбе между двумя началами. Над ним занесены копыта Медного всадника, на него обрушилась слепая стихия, либо под тем, либо под другим он должен погибнуть. Либо под копытами империи, либо в волнах слепого бунта. И то, и другое смертельно. Но бороться можно только с одним, и он бросает вызов тому, с чем действительно можно бороться.

Петр живой, думающий, со всем тем конкретным историческим, что возникает у любого русского читателя при имени Петра, и затем второй Петр – отлитый в бронзу – Медный – обезличенная сила, действующая под именем Петра по своим нечеловеческим законам. Евгений, наоборот, вначале существо максимально обезличенное, типовое. Из черновиков видно, как тщательно Пушкин изгонял индивидуальное в судьбе Евгения, в обстановке, в быту, окружавшем героя. Ничего своеобразного, личного. Обычайнейший, зауряднейший чиновник, с историей самой

Два лика. Даниил Александрович Гранин [granikdanie1.ru](http://granikdanie1.ru) распространённой. Родовое имя его забыто, служит он где-то, живет в Коломне, где живет великое множество будущих Родионов Раскольниковых. Не осталось никаких примет от обстановки его жилья. «Стряхнул шинель, разделся, лег» – и все.

О чем же думал он? о том,  
Что был он беден, что трудом  
Он должен был себе доставить  
И независимость, и честь;  
Что мог бы Бог ему прибавить  
Ума и денег. Что ведь есть  
Такие праздные счастливыцы,  
Ума недалежного ленивыцы,  
Которым жизнь куда легка!  
Что служит он всего два года;  
Он также думал, что погода  
Не унималась; что река  
Все прибывала; что едва ли  
С Невы мостов уже не сняли  
И что с Парашей будет он  
Дни на два, на три разлучен.

И положение его, и желания самые что ни на есть незначительные, заурядные, ничего в них нет своегообычного.

Личность Евгения проявляется и возникает лишь с катастрофой. Он личностью становится, когда становится безумцем. Страдания делают его судьбу отдельной. Отныне он не похож ни на себя, ни на всех иных безликих Евгениев, он отделен от них мятежным шумом Невы и ветров, что раздаётся в его ушах. Он отделяется и выделяется из окружающего мира, теперь он полон ужасных дум, теперь он свету стал чужд. Шум внутренней тревоги не даёт ему покоя. Ужасные думы, пусть безумные, с точки зрения окружающих, делают его личностью, и именно появление личностного неизбежно приводит его к столкновению с Медным всадником. Это странное перемещение, которое происходит в поэме, обезличенного и личностного создаёт ритм удивительный, порождает какое-то особое сцепление, когда одно входит в другое, как пальцы сомкнутых рук.

Личность всегда была опасна самодержавию. Но куда опаснее личность, которая осмеливается произнести что-то. Слово – вот чего боялось русское самодержавие. Пусть даже произнесенное шепотом, пусть отпечатанное всего в 650 экземплярах, как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, слово произнесенное внушало страх. Нигде его не преследовали так, как в России. Кто ещё из великих поэтов подвергался такой унижительной, невежественной, удушающей цензуре, как Пушкин? История создания самого «Медного всадника» как будто отразилась в поэме.

Вернувшись из Болдина, Пушкин представил через III отделение только что написанную поэму на рассмотрение своего высочайшего цензора. Спустя пять дней его вызвали в III отделение и вручили поэму с пометками государя. Их было вроде бы и немного. Царь требовал изъять сцену Евгения у памятника, слова его. Отчеркнуты были слова «кумир», «горделивый истукан», стихи о Москве. По количеству строк, по словам – весьма немного – но, пользуясь выражением Пушкина, делало это «большую разницу». Казалось бы, ничего страшного – заменить одно слово: кумир. Или выкинуть слова Евгения: «Ужо тебе!..» И Пушкин пытался это сделать. Ему нужны были деньги. Ему хотелось напечатать поэму, ценность и значение которой он отчетливо представлял. Лучшую свою поэму. Он искал замену. Кумир – седок, ездок... Нет, невозможно. Не получалось. Невозможно было заменить даже одно слово. Оказалось, что именно в отчеркнутых строках сосредоточилась та доля сокровенного, пожертвовать которой нельзя без ущерба для смысла поэмы. В истинно поэтических произведениях, где все необходимо, есть какие-то несущие узлы, выраженные иногда одной фразой, одним словом, убрать их – и все исказится, рухнет. Примечательно, что Николай I, отнюдь не ценитель и знаток поэзии, сумел отыскать в поэме эти важнейшие опорные ее точки. Второй лик Петра и второй лик Евгения – эти вторые опаснейшие лики, которые как бы начинали реакцию расщепления, – их Николай I обнаружил и вычеркнул. Он учуял их тем особым нюхом на крамолу, обостренным у ревнителей самовластья.

Как Пушкин ни нуждался в деньгах, он не мог согласиться на требования своего цензора. Сколько он ни брался за поэму, всякий раз переделанное отвечало не замечаниям царя, а его собственной жажде совершенства, поэма становилась еще

Два лика. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
емче, лаконичней и, может, еще более трудной для печати.

«Ужо тебе!..» – это ведь, мне кажется, обращалось и к самому Евгению. Он сам был частью государственного механизма, против которого он восставал. Это был бунт против себя – детали этой машины, чиновника мелкого, покорного, бедного. Он был лишь часть –

Каких встречаете вы тьму,  
От них нисколько не отличных  
Ни по лицу, ни по уму.

Он был никем, обезличенная принадлежность, отштампованная бедностью. Бедность заменяла ему характер; мы не знаем, каким он был – злобным, вспыльчивым, мягким: он был лишь беден. Нет денег – значит, нет и дворянства, неважно, что когда-то предки его были записаны в «Истории» Карамзина. Бедность уничтожила и характер, и ум, сделала ничтожными его мысли и мечты. Он еле осмеливается просить:

...мог бы бог ему прибавить  
Ума и денег...  
...он желал,  
Чтоб ветер выл не так уныло  
И чтобы дождь в окно стучал  
Не так сердито...

Так начинался вековой путь бедного чиновника через всю русскую литературу: Поприщин, Акакий Акакиевич, Девушкин, герой «Записок из подполья», бедный чиновник Чехова.

Сидя на льве, Евгений следует за Медным всадником, его жалкая копия, еще не отделенный от своего грозного вожатого, еще ничтожный, он принимает все покорно, как и все частицы этой машины, вплоть до живого царя Александра, который тоже покорно взирает с балкона на разбушевавшуюся стихию.

Безумие преображает Евгения – он больше не тень, не безликий чиновник. Он отделяется от окружающего мира. Страстные чувства вспыхивают в нем, изменяя внешний облик, все его существо.

...взоры дикие навел  
На лик державца полумира.  
Стеснилась грудь его. Чело  
К решетке холодной прилегло,  
Глаза подернулись туманом,  
По сердцу пламень пробежал,  
Вскипела кровь. Он мрачен стал  
Пред горделивым истуканом  
И, зубы стиснув, пальцы сжав,  
Как обуянный силой черной...

Он стал достойным и, может, страшным противником. Ему уже нечего бояться. Устои рухнули, ничего не осталось. Этот Евгений рожден безумием, а безумие рождено страданием. Он был беден и был безлик, он лишился всего, у него все отняли, и он стал личностью. Он появился – не бедный чиновник, а человек. Не лоб, а чело у него, чело, приложимое лишь к великим мира сего. Чело, достойное Человека, которого так определял Даль – «высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободной волей и словесной речью».

Не правда ли, какое удобное и четкое получилось противопоставление? Все расположилось как нельзя выгоднее для всяких толкований. Ничтожный, жалкий, бедный чиновник превращается в героя, бунтаря, в личность значительную, опасную, мыслящую. Он был никем – он стал всем. Почти что так. Контраст соблазнительный, и я поначалу охотно поддался ему. Но что-то смущало меня, какая-то симпатия или сочувствие к тому, первому Евгению, смутная симпатия, которой я пренебрег в угоду своей схеме.

О чем же думал он? – повторял я себе. О том,  
Что был он беден, что трудом

Два лика. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Он должен был себе доставить  
И независимость, и честь...

Да что же тут ничтожного, мелкого? – вдруг спросил я себя. Разве это не благороднейшее стремление – «независимость и честь»? Не об этом ли мечтал и сам Пушкин? «Счастье независимости» – вот что с годами становится идеалом жизни Пушкина. «Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господ бога.» Так писал Пушкин о себе. Независимость и честь – не так ли может повторить о себе каждый? И почему надо считать жалкими мысли Евгения, тревогу его о Параше? И уже совсем иначе я прочел последнюю строфу ночных дум Евгения:

Так он мечтал. И грустно было  
Ему в ту ночь, и он желал,  
Чтоб ветер выл не так уныло  
И чтобы дождь в окно стучал  
Не так сердито...

Первоначальное, не подчиненное схеме чувство вернулось ко мне – близость, понимание и даже сочувствие Евгению, к неутолимой тоске человеческого сердца по простому счастью, к той обыкновенности, которой полна жизнь каждого из нас. Эта обыкновенность, эти простые ценности человеческого существования дороги Пушкину, он защищает их, он понимает, сколь велико горе их утраты. Схема – она была во мне, в моем подходе, в неискоренимости школьного «разбора литературных произведений». Схему ту действительно можно разобрать. А подлинную литературу можно лишь разодрать, убив в ней живое и, значит, бесконечно сложное, противоречивое, изменчивое.

Я чувствую, что мне не удалось избежать противоречий. Законченной, стройной системы не получилось. Но если раскрылись противоречия истинные, а не надуманные, то, может, это лучше всякого сведения концов с концами. Несмотря на обезличенность Евгения, он все же не превращен в некое условно-типовое обозначение, в нем сохранилось живое начало, которое за два года его службы еще не стерто омертвляющим чиновничьим аппаратом. Может, от незатоптанной окончательно искры и разгорается пламень, что бежит по его сердцу. От этого бегущего по сердцу пламени вскипает кровь. Человек распрямылся, обрел чувства, гнев, силу, и слова его отнюдь не безумны: «Добро, строитель чудотворный!» – и, может, вопреки логике слышится в них вопрос, поставленный спустя полвека: «Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии?» Впрочем, это так, ассоциации, для Евгения же нет вопроса. В пламени сгорают его идолы и кумиры.

«Ужо тебе!..» – вот когда всадник очнулся и впервые заметил этого человека. Когда перед ним восстал человек, не жертва, не обездоленное, затравленное существо. Человек – вот кто страшен всаднику. И ведь когда восстает Евгений? Не сразу, не обнаружив свое несчастье, а спустя много времени. Это странно и значительно соединяется с картиной торжествующей пошлости, «с бесчувствием холодным» уже ходит народ.

...Торгаш отважный,  
Не унывая, открывал  
Невой ограбленный подвал,  
Сбираясь свой убыток важный  
На ближнем выместить.

...Граф Хвостов,  
Поэт, любимый небесами,  
Уж пел бессмертными стихами  
Несчастье невских берегов.

Это та самая пошлость – нажива, барыш, – которая умела приспособиться, прилепиться к петровскому кораблю, эксплуатировала реформы Петра. Та пошлость, которая после Петра воспользовалась его делом, и нынче она использует превосходно все, в том числе и разбушевавшуюся стихию, и будет петь «несчастье невских берегов».

Два лика. Даниил Александрович Гранин [granikdaniel.ru](http://granikdaniel.ru)  
Героем трагедии не может быть трус, ничтожный и жалкий. Евгений, которого мы знали в начале поэмы, не вызвал бы в нас той силы соучастия, сострадания и волнения, и сама картина наводнения, этого буйства, тоже не может вызвать того страха и восторга, которые возникают. Трагедия произошла потому, что несчастье героя соединилось с его бунтом, потому что он стал героем, бросил вызов. Он более не хочет быть дрожащей тварью. Его смелость – безумство, его вызов – также безумство. Но это великое безумство, равное безумству короля Лира. И есть тут еще один поворот необъяснимый, который я скорее чувствую, чем понимаю. Вызов Евгения – это всего лишь вспышка; впоследствии, проходя мимо всадника, он не смеет и глаз поднять, смиренно снимает шапку, прижимает руку к сердцу. В этом новом повороте есть гениально найденная Пушкиным реальность жизни. Что же, бунт кончился смирением, Евгений побежден, несмотря на безумие, он по-прежнему тварь дрожащая? Может, и так. Но однажды он не был тварью. Пусть однажды, но он был человеком, выше и больше всадника. Человеком, который заставил сойти со скалы эту Медную статую.  
1968

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!